

Саре Каллигарич

*Первая крупная катастрофа, обрушившаяся
на живых существ, — не потоп, а то, что
после него все произошло.*

ШАНДОР ФЕРЕНЦИ¹

*Он тонул и всплывал,
Погружаясь в пучину, и путь совершил
От смерти к рождению.*

Т. С. Элиот²

- 1 Перевод А. Ямпольской. (Здесь и далее — прим. перев.)
- 2 Перевод Я. Пробштейна.

Вот так всегда. Стараешься ни во что не лезть, а потом в один прекрасный день непонятно как вляпываешься в историю, которая ведет тебя прямым ходом к финалу. У меня не было ни малейшего желания вливаться в общую гонку. Я знал всяких людей — и тех, кто чего-то достиг, и тех, кто даже не стартовал, но рано или поздно у всех на лицах появлялось одинаково недовольное выражение, из чего я сделал вывод, что за жизнью лучше просто наблюдать. Я только не учел, что дождливым днем в начале прошлой весны останусь без гроша в кармане. Это было досадно. Остальное, как бывает в подобных случаях, произошло само собой. Сразу скажу: я ни на кого не в обиде, мне раздали карты — я сыграл. И все.

А бухта просто загляденье. На сотню метров в море вытянулся скалистый мыс, где высится сарацинская крепость. Оглядываясь на берег, вижу ослепительную ленту песка, за ней — заросли низкого

кустарника. Чуть поодаль — пустынная в это время года трехполосная автострада, туннели которой бурвят сверкающую на солнце горную цепь. Голубое небо, чистое море.

Лучшего места не найти, если что.

Я всегда любил море. С детства мне нравилось околачиваться на пляже — наверняка это передалось от деда, который в молодости ходил по Средиземному морю на торговых судах и только потом бросил якорь в угрюмом Милане, наполнив дом отпрысками. Я его знал. Старый сероглазый славянин, умерший в окружении целой оравы правнуков. Его последние разборчивые слова — просьба принести морской воды. Отец как старший сын оставил магазинчик для филателистов на попечение одной из моих сестер, а сам отправился на машине в Геную. Я поехал с ним. Мне было четырнадцать лет; помню, за всю дорогу мы не проронили ни слова. Отец был не очень-то разговорчивым, да и я, не радовавший его успехами в школе, предпочитал помалкивать. Это оказалась самая короткая поездка на море за всю мою жизнь: мы набрали бутылку и покатали обратно; а еще самая бессмысленная поездка: когда мы вернулись, дедушка был уже почти без сознания. Отец смочил ему лицо водой из бутылки, но, судя по дедушкиному виду, тот не слишком обрадовался.

Близость Рима к морю стала одной из причин, по которым я спустя несколько лет сюда перебрался.

После службы в армии надо было решать, на что потратить жизнь, но чем дольше я смотрел по сторонам, тем труднее было определиться. У моих приятелей имелись четкие планы: получить диплом, жениться, заработать, но у меня подобная перспектива вызывала отвращение. В те годы в Милане деньги значили даже больше, чем обычно: страна показывала фокус под названием “экономическое чудо”, я тоже отчасти сумел им воспользоваться. Случилось это, когда один медицинско-литературный журнал, для которого я пописывал тщательно продуманные и скверно оплачиваемые статейки, решил открыть римскую редакцию, где мне предложили место корреспондента.

Мама всячески меня отговаривала, отец ничего не сказал. Он молча наблюдал за моими попытками встроиться в общество, сравнивал их с достижениями моих старших сестер, рано вышедших замуж за служащих — между прочим, прекрасных людей; я же пользовался его молчанием и сам не раскрывал рта, как когда мы ездили за водой для дедушки. Мы с отцом никогда не разговаривали. Кто в этом виноват — не знаю, не знаю даже, уместно ли говорить о вине, но мне всегда казалось, что, побеседовав откровенно, я причиню ему боль. Война, вторая большая война, занесла его далеко, чего он только не пережил; оттуда возвращаешься другим человеком. Несмотря на гордое молчание, у отца всегда был такой вид, будто он пытался что-то забыть — наверное, то, что он вернулся домой еле живой, что нам случилось увидеть, как его крупное тело корчится

под разрядами электрошока. Наверняка так и было, однако мальчишкой я не мог простить ему негероическую профессию, любовь к порядку, чрезмерную бережливость. Я не догадывался, какие страшные разрушения ему довелось увидеть, если, вернувшись с войны, в первый же день он с бесконечным терпением взялся за починку старого кухонного стула. Однако и сегодня, спустя почти тридцать лет, в нем что-то осталось от солдата: терпеливость, умение высоко держать голову, привычка не задавать вопросов; до сих пор, даже если бы он мне больше совсем ничего не дал, я благодарен ему за то, что маленьким ходил рядом с ним и ничего не боялся. И сегодня отцовская походка быстрее всего возвращает меня в детство, и сегодня среди окружающей меня бескрайней водной зелени я, словно по волшебству, оказываюсь с ним рядом, вспоминаю его спокойный и упругий шаг, в котором не чувствовалось усталости, — так он шагал на марше, так в конце концов вернулся домой.

Словом, я уезжал в Рим, и все бы шло своим чередом, если бы отец, внезапно забыв про гордость, не решил проводить меня на вокзал и дожидаться на перроне отправления поезда. Это обернулось долгим, изматывающим ожиданием. Широкое отцовское лицо пылало из-за того, что он еле сдерживал слезы. Мы, как обычно, молча глядели друг на друга, но я-то знал, что мы прощаемся навсегда; оставалось только молиться, чтобы поезд как можно скорее тронулся и отец перестал смотреть на меня с отчаяньем, которого я у него никогда не видел.

Он застыл на перроне, впервые оказавшись ниже меня, — я заметил, насколько поредели волосы на голове, которой он беспрерывно крутил, поглядывая на светофор в конце платформы. Крупное тело замерло, отец слегка расставил ноги, словно готовясь выдержать сильный толчок, ладони грузами лежали в карманах пальто, на глазах выступили слезы, лицо побагровело. Пока до меня наконец-то доходило, что быть единственным сыном, наследником, что-то да значит, пока я собирался раскрыть рот и крикнуть отцу, что сейчас сойду и мы придумаем, как наладить, а не разрушить нашу жизнь, поезд дернулся и поехал. Так, снова в полном молчании, меня оторвали от отца. Когда поезд тронулся, я увидел, как его крупное тело затряслось. Я удалялся, он становился все меньше и меньше. Он не пошевелился, не помахал мне рукой. А потом и вовсе пропал.

Уважаемое положение я занимал недолго. Через год меня уволили — хотя, если честно, могли сделать это и раньше. От мелкого пассива римской редакции избавились в самую последнюю очередь, незадолго до того, как журнал отдал концы вместе с породившим его экономическим чудом. Контора, где я трудился — добывал для журнала кой-какую рекламу и периодически строчил статейки, чтобы потрафить врачам с их необъяснимой любовью к литературе, — представляла собой обставленную мебелью с обивкой из красного штофа комнату на вилле эпохи Умберто Первого, расположенной сразу за Тибром.

Владельцем виллы был граф Джованни Рубино ди Сант'Элиа, почтенный пятидесятилетний синьор, державшийся непринужденно, хотя чуть манерно. Поначалу он сохранял дистанцию и приходил только распахнуть дверь в сад, чтобы я насладился ароматом сирени, но потом все чаще усаживался в кресло напротив моего стола и вел неспешные беседы, становившиеся тем фамильярнее, чем откровеннее он рассказывал о своем финансовом положении. Когда он признался, что окончательно разорен, мы перешли на “ты”.

Граф жил с женой, полноватой блондинкой, которая из-за мужней бедности пряталась в задней части дома; она впускала только посыльного от булочника, но как-то раз, открыв дверь, обнаружила перед собой человека, который пришел забрать за долги великолепный золоченый стол из гостиной, и с тех пор мне приходилось разыгрывать роль недалекого графского секретаря. Впрочем, я делал это охотно. Прежде всего ради графа. Мне нравилось смотреть, как он заходит ко мне, поглаживая седые виски, резко встряхивает руками, и из рукавов пиджака появляются белоснежные манжеты рубашки. “Ну что? — интересовался он. — Как дела? Трудимся?” Я закрывал пишущую машинку чехлом и доставал бутылку. В отличие от миланцев он никогда не говорил о своих денежных затруднениях, лишь о приятном — об аристократах, знаменитостях, но чаще — о женщинах и лошадях. Иногда, поблескивая глазами, рассказывал пошлые анекдоты.

С наступлением лета мы завели обычаем перемещаться в гостиную: когда солнце уходило из этой части дома, среди стен, хранящих светлые следы вынесенной мебели, граф играл на рояле “Стейнвей”, а я слушал, утонув в подушках последнего оставшегося дивана. Каждый день, как только до меня долетали первые ноты, я звонил в бар, заказывал холодного пива и шел к хозяину. Он уже сидел за роялем с потеряннным видом. На графе был поношенный шелковый халат, он перебирал старый репертуар — песенки, которые я слышал от мамы, мелодии Гершвина и Коула Портера; больше всего он любил старую американскую песню “Роберта”. Иногда мы пели вместе.

В первый день осени пришло письмо, извещавшее о закрытии римской редакции. Я сообщил об этом графу, тот оперся о рояль и улыбнулся. “Ну что, дорогой, — спросил он, — чем теперь займешься?” Так и сказал, хотя я бы мог догадаться: для него новость стала смертельным ударом. Спустя два дня, когда я собирал свои бумаги, в дверь позвонили — четверо рабочих с решительным видом подняли и унесли рояль. Старый “Стейнвей” с трудом протиснулся в калитку и, видимо, обо что-то стукнулся: с улицы донеслось жалобное стенание, похожее на погребальный звон. Все это время граф не показывался, но, когда я пожал ладонь заметно растроганной графине и тоже ушел, возник в окне и помахал мне рукой. В этом его жесте была такая непреклонность, что я ответил единственным пока-

завшимся мне уместным способом: поставил портфель на тротуар и поклонился.

После закрытия конторы я прожил несколько дней в гостинице, раздумывая о будущем. Все, что сулили заведенные в журнале знакомства, — работа в фармацевтической компании за городом, где мне предстояло с девяти утра до шести вечера сочинять рекламные тексты. Я решил подождать, пока жизнь сама что-нибудь подбросит. Как взятый в осаду аристократ.

Я каждый день ездил смотреть на море. Засовывал в карман книжку, доезжал на метро до Остии и проводил часы за чтением в маленькой траттории на пляже. Потом возвращался в город и бродил в районе пьядца Навона, где у меня появились друзья — тоже слонявшиеся без дела, в основном интеллектуалы с ожиданием в глазах и физиономиями как у беженцев. Рим был нашим городом, он нас терпел, баловал, в конце концов и я понял, что, несмотря на разовые подработки, голодные недели, сырые и унылые гостиничные номера с пожелтевшей, скрипучей мебелью, которую как будто убила и высушила загадочная болезнь печени, я бы не смог жить ни в каком другом месте на свете. Хотя, думая о тех годах, я вспоминаю немногие лица, немногие события: в Риме есть нечто пьянящее, стирающее воспоминания. Рим — не столько город, сколько тайная часть вас самих, скрытый в вас зверь. С ним вполсилы нельзя: либо вы его обожаете, либо вы из него убираетесь, потому что ласковый зверь требует одного — чтобы его люби-